



# 1. Обои

Я лежал на старом в дощечной хате, все стены были оклеены старыми газетами, и пока лежал, дожидаясь автобуса, читал по стене о войне и мире, уборке хлебов и капусте, лесопилениях, неполадках в снабжении, и вулканы Этна, который олягз задымил, неся ужас и смерть; о Сталине, об актрисе Любови Орловой, путине, загигбах в колхозах, чешкоиндча, целине и Великих Авианерелетах; о московском канале, гримасах капитализма, Гитлере, Риббентропе, гигантских заводах, успехах и неуязкости в пересадке сердец; о полете Гагарина, Сталине, победах в Антарктике, Чемберлене, пьесах Погодина и Тренева, а также о том, что писателю Н. не надо писать так, как он пишет.  
И снова о Сталине.  
Я читал это и перечитывал и, прочитав одну стену, перешел ко второй и зачитывая так, что пропустил автобус.  
Вот ты мой! Да когда же все это было? А ведь было это как раз в ту кроху Времени, когда я жил; когда радовался, страдал, влюблялся, обедал и завтракал, растил детей, вымывал в мечтах и снова срывался с катушек; когда любил, ревновал, воевал, дружил, враждовал; когда смерть была далеко от меня, как луна, а вот теперь я сам — этот лунный человек.  
Ведь видел же я все это! Времени вплотную, накоротке — и челокинцев, и войну, и колхозы, и Погодина, и путини. И даже того писателя Н., которому надо писать по-другому.  
Представьте — и Сталина.  
Повидал — повидал, да так ничего нетленного и не написал.  
Поверьте, это не воздыхание. Это справка.

# 2. Вот это была бы книга!

Вот написать бы о всей жизни Сталина! С мальчишеских лет до смерти на Ближней Даче. Во всех его отношениях и людям, соратникам, партии, добру, правде, России, с коварством, предательством, зоркостью, сдобой и упорством. С умом, подозрительностью, притворством и с манной похоти, не отступающей ни на час. С громом орденов в сверкающих залах и смертью в безлюдной комнате, на полу, один на один с собой, под охраной целой стрелковой дивизии.  
Никто не смеет даже помыслить, чтобы приблизиться к этим двум и ситализациям. Но смерть прошла, и кажется, без особых трудностей.  
Он — один. На полу. С глазу на глаз с кончиной. От семинариста — рибго, рынго, низкорослого, с дурным запахом тела до властелина, мизинцу которого подчинялась не только жизнь, но и мысли, чувства, удачи, надежды, отчаяния миллионов. Все написать, подробно, не хотелось. Невозможность этой дорой тру- пцов, побед, вероломства, торжеств и жестокости. Все, без утайки.  
Вот это была бы книга! Впрочем, наверно, она уже где-то пишется, где-то есть. Но все же, конечно, с утайки, без них невозможно об этом писать — извилины, петли, пещеры и щели. Безуборный дымок из трубки, несущий смерть.  
А может, таким и должен быть кумир, который действительно остается в памяти, чьи югти вросли в человечество навсегда? Возможно, именно душегубы определяют переливание Истории, а вовсе не те, что пишут и плачут о человеке, однако не в силах дубасить его под душ.

# 3. Друзья

Говорят, что Сталин, вернувшись после работы ночью на Ближнюю Дачу, и поужинав, садился за письменный стол и записывал на ливоняньих бумажках тех, кого назначал на следующий день в армию или расстрелу. Писал, говорит, не спеша, вестра на простынь после стольких дневных забот усталость. Порой приостанавливал бег карандаша и раздумывал. Потом снова писал, уже не задумываясь.  
То были длинные списки, иногда приходилось переорачивать бумажонку чистой, другой стороной. В них, между прочими, значились те, с кем он подолгу дружил, был рядом в действиях, мыслях и заседаниях. Друзья, наперсники, братья. Нередко — родные. И очень часто те, кто укрывал его в царские лихо- летье.  
Шла ночь, перемещалась луна, неслось под лунной облака, а он вспоминал и писал. Има за именем, кличку за кличкой. В тридцатые годы память его была еще молода, а в сорковые чукот повдла и приходилось подолгу (и не спеша) похаживать по ковру среди безлюдного наглухо дома, в дремучей ночной тишине. И припоминать.  
Как это ни странно, судьба привела меня жить сегодня в Митровске, рядом с той Ближней Дачей, и я вижу в свое окно точно то, что видел и Сталин — те же заборы, тот же ветер в тех же деревьях и ту же луку.  
Нет только Сталина и тех, кого он помечал на обложке ливонянского листа знаком казни. Но я отчетливо представляю себе, как в этот час, когда он ша-

гал по ковру, все поминал, помечал, они метались на острожных койках и каждый из них говорил себе: — Нет, невозможно, чтобы он согласился на мой расстрел! Ведь мы были такими друзьями, делили и пишу, и кров, ведь не было человека ближе ему, чем я. Нет, он не может назначить мне смерть. Это игра, это что-то такое, что непонятно мне, но нужно для Партии.  
Плыла луна (именно так, как я вижу ее сейчас), стояла крошечная глухота (какую слышу сейчас). Порой до урчания доносился собачий звлай, но издалека, дремуче: собака, которые были назначены действительно сторожить, отучили лаять. Они бешм- но вгрызались в горло.  
Близилось утро, и Сталин ставил в перечне последнюю точку. Еще живы люди, что видели эти записки: так, листок, как листок, с пометками, в столбик. Порой перечеркнутые и надписанные вновь. Кое с какими выписками. Правда и с вымарками. Он парил над уделом страны и жребием человека невидимо, в лунной кутерьме, подобно Всевышнему, равный Господу Богу.  
Да, тут нужен Шекспир! И даже похлеще того, что знаком нам по Макбету и Отелло.  
Потом Сталин ложился спать. Проспался он поздно, порой далеко за полдень.  
Нетерпиво натягивал сапоги, завтракал, отклеивая коротенькими глотками легкое виццо. И отправлялся в Кремль.  
В часы сна никто не смел войти в комнату, где он спал.  
И никто не посмел. Даже тогда, когда с ним случился удар и он без движения лежал на полу, словно самый простой общепринятый сын Адама.

# 4. Очень мал ростом

Все, с кем я сейчас толкую о Сталине, говорят, как один, что верили каждому его слову: диверсии, мол, вредители и шпионы и что, якобы так верили все.  
Не знаю, я, как ни странно, не верил. А ведь не самый мудрый, напротив — из обыкновенных, скорей среднотовый.  
И все же не верил. И только теперь передергиваю, что верил. Чтобы окончательно не прослыть остопаком.  
Сталина я видел не раз. Однажды и вовсе близко, у Горького. И сейчас, в тот вечер его речь, в которой он назвал писателей инженирами человеческих душ. Когда-нибудь попытаюсь поведать об этом подробно, сейчас же замечу, что говорил он спонноу, внятно, твердо, без директивной категоричности, однако, как мне показалось, вполне сознавал, что каждое его слово останется в веках. После речи мы сгрудились вокруг него, и я ясно помню отчетливое чувство, что я стою рядом с человеком, от которого захватит сейчас участь Земли. Считаю же меня недоумком, но я ясно помню в себе это чувство. А также удивление от того, что Сталин очень мал ростом, лишь прибавит и что от него исходит запах непорочного тела.  
Хрущева тогда у Горького, кажется, не было, он еще только входил в силу, однако самый подробный рассказ о Сталине и слышал как раз от него. Да, я всего три раза видел Хрущева вплотную, но этот чудакующий, со странностями рассказ я слышал именно от него.  
Хрущев имел обыкновенные начитанные свое ремя с заготовленного референтами текста. Затем, засучив, как и слушатели, он откладывал папку с докладом, и начинался импровизация. И это было самое неожиданное и удивительное в его пространных речах.  
Так и в тот день, когда я его слушал, он, затосковав, отложил труды референтов и начал рассказ. Вот какая осталась у меня память его повесть.  
На сей раз он говорил о Сталине. Сперва рассказал о том, что в Гагры их дачи были по соседству, и Сталин нередко по вечерам звал его к себе. Тут я запомнил высказывание Никиты Сергеевича, что он, Хрущев, не очень любил эти приглашения, потому что — это я помню с уверенностью — тогда тебя зовут и Сталина, нельзя же все это сказать, что так и случилось утром — у себя в кровати или по дороге на Колыму.  
Сталин сидел в саду, в беседке и пил чай. Он дуршево приветствовал Хрущева. Они пили чай и вели разговор. Хрущев не сказал — о чем, но полагаю, на темы вполне достойные.  
Шло время, стемнело. Сталин мрачнел. Потом вдруг вошел уминок. Некоторое время они молчали.  
Никита Сергеевич сказал: — Так я поеду домой, Иосиф Виссарионович. Пора, жена ждет.  
Сталин не отговаривал.  
Хрущев встал.  
Сталин молчал.  
Ему — сказал Хрущев.  
— Вы, никому не поведаете, — сказал Сталин. — Останется тут.  
— Нельзя, Иосиф Виссарионович. Жена будет ждать.  
— Останется тут — повторил Сталин и пошел на Хрущева ресничцы. И это был ТОГДА, вот судительство Хрущева.  
На этом вождь встал и ушел. А через минуту явился порученец и проводил Хрущева в комнату для гостей. На молчок.  
Прошла ночь Хрущев спал плохо. Утром оделся и вышел в сад. В беседе, как и вчера, в котором в той же позе за самоваром сидел Сталин. Он пил чай, Хрущев весело поздоровался (было прекрасное утро), сад, справился о здоровье.  
Сталин молчал.  
Хрущев помалочка-помалочка да и осведомился — по возможности беззаботно — о том, хорошо ли Иосиф Виссарионович спал.  
Сталин не отговаривал. Прихлебывая чай (или кофе, уже не помню). Долго, не торопясь. Потом вдруг спросил: — Скажите, кто вы такой? Как вы попали сюда?  
— Я?  
— Да, вы.  
— Иосиф Виссарионович, — ответил ошеломленный Хрущев. — Я Хрущев.  
— Надо еще проверить, кто вы такой, — сказал вождь, отодвинув стакан, быстро встал и ушел из беседки.  
— Что было делать? — спросил нас Хрущев в этом месте рассказа. — Ити за ним! Спокойно. Пожалуй, нельзя. Уехать домой? Хрущев.  
В смятении Иосиф ушел отодвинув стакан, тоже встал и пошел по дорожкам.  
Минут через десять его нагнал порученец.  
— Товарищ Хрущев! Вас товарищ Сталин зовет. Ищет повсюду.  
Хрущев поспешил в беседку.  
Там вновь сидел Сталин и пил чай.  
— Ну, где же вы, Никита Сергеевич, — ласково спросил он. — Нельзя так долго иль сразу же уходить.  
— Вот видите, каной он был, — заключил свой рассказ Хрущев. — Здоровый! Большой! Искренний! Притворяться! А ведь меня знаете, как честат за то, что я его притворился.  
Видно, что-то саднило душу его. И ему, как каждому русскому человеку, хотелось об этом, саднищем, вы-

жить людям. Да, это был тот самый Хрущев, который вернулся из тюрьмы и сылок миллионы острожников и который остался в народном сознании не то увальням, не то дурачком.

# 5. Дачная повесть

В ноябре — декабре сорок первого, когда Москва опустела, эвакуанты растворились в пространствах, и люди и даже начальники стали открытой и неподдельной в думах и разговорах, я был вызван с фронта в столицу, на просмотр кинокартинны «Машенька». Ведь был-то я ее спенаристом, а она, представьте, нежданно для начальства и фантастически для меня, вызвала одобрение Того, кто рещал все. Верховного координатора оценок и мыслей. Напомню, что это случилось в те дни, когда немцы были под боком. В Химках.  
Дом в Гнездиновском, где весь этот пестрый век помещался Кинокомитет, был пуст, ни души, только под лестницей, в кабинетике маячил кинодраматург А. Я. Каплер, значившийся в те дни кем-то вроде негласного референта председателя комитета. Кстати, звали этого председателя — он на памяти всей летней рати моего поколения — Большаков. Иван Григорьевич Большаков.  
Каплер привел меня к нему Тот (я не хвастаюсь) объял меня и даже назвал по имени отчеству — ведь «Машенька» полюбилась самому. Вождь даже после просмотра, по словам Большакова, сказал, что подобные фильмы полезны. «Народу необходимы чув-

ств» — сказал мне Большаков, передавая смысл его слов.  
Не знаю, точно ли была передана оценка но (не видя из его рассказов я напрочь забыл. Но один-другой заспал в памяти.  
Однажды зимой, Большаков показывал Сталину новый фильм. Был по обычаю поздний час. Вождь спокойно и мирно возирал на кинотворение. Смирно, не закрывая вежд, дремал Соратники. Вдруг, примерно на половине экранных злосчастий, Сталин встал и круто вышел из зала. Не проронив объяснений. Возникло смияение.  
Находчивей всех оказался Молотов.  
— Прекратить! — крикнул он.  
Вспыхнул свет, замок стрекот проектора. Молотов оборотился к Большакову:  
— Что за мерзость вы нам привезли!  
Соратники подхватили:  
— Вадор! Оюлессага! Килевата!  
И еще минут пять гремели оценки того же калibra.  
Молотов завершил.  
Фильм запрещать! Чем вы думаете, когда вете судья картины? Что у вас вообще происходит в кино?  
Большаков сидел, помертвел.  
И именно в этот момент зашел Вождь.  
— Что случилось? — спросил он. — Почему остановка? Давайте посмотрите. Отличнейшая картина! Вопарилось безмолвие. Да такое, какое бывало только при Сталине.  
— Оборвалась пленка, — сказал кто-то из Политбюро.  
Кажется, это был все тот же Молотов.  
А может быть, Катаганов.  
Не знаю. Но в том, что это был член Политбюро, тут уж Иван Григорьевич, поверьте, не мог промахнуться.

ской империей? Говорили с кем-нибудь по-грузински долго и непонятно? О чем? И о множестве множеств, что не имело, естественно, ни-малейшего отношения к новой картине, но касалось вплотную ее дальнейшей возможной судьбы. И только после стольких филигранных исследований шеф нашего киноотдела — рещался на дачный показ новой кинокартинны. При наличии всех одобряющих примет. В случае же невидимых миру тончайших сомнений И. Г. Большаков крутил «Большой вальс». И с неизменным успехом.  
— Да, так-то, друзья мои! — сказал мне тогда Большаков в безлюдно опустошенного Комитета. — А я ведь знаю — вы пушите меня за то, что я задерживаю ответ на ваши картины. Вы посидели бы рядом со мной, когда их смотрит Хозяин!

И я представил себе умственным взором и дачу, и зал просмотров, и Хозяина, и Соратников, и ожидающего вердикта, который обжалованию не подлежит. И подумал о том, сколько же все-таки хороших картин Иван Григорьевич, мужимый всеми нами, вытрас из пепла. Но думал я и о том, как за долгие годы принисовенный к огню обгорела в нем совесть. И только ли в нем? А ведь именно в этой прожаренности до костей причина всего, над проясненным что бытоса нынче, мордуя друг друга, наши историки и моралисты.  
И подумав так, я уже в те времена простил Большакова, как, впрочем, и всех, побывавших в куцах Кремля, в его чуланах и дачах. Все же Иван Гри-

# Евгений ГАБРИЛОВИЧ

# Из книги «ВОЖДЬ»



горьевич был не худшим из тех, кто государство вад над искусством.

Многие из его рассказов я напрочь забыл. Но один-другой заспал в памяти.  
Однажды зимой, Большаков показывал Сталину новый фильм. Был по обычаю поздний час. Вождь спокойно и мирно возирал на кинотворение. Смирно, не закрывая вежд, дремал Соратники. Вдруг, примерно на половине экранных злосчастий, Сталин встал и круто вышел из зала. Не проронив объяснений. Возникло смияение.

Находчивей всех оказался Молотов.  
— Прекратить! — крикнул он.  
Вспыхнул свет, замок стрекот проектора. Молотов оборотился к Большакову:  
— Что за мерзость вы нам привезли!  
Соратники подхватили:  
— Вадор! Оюлессага! Килевата!  
И еще минут пять гремели оценки того же калibra.  
Молотов завершил.  
Фильм запрещать! Чем вы думаете, когда вете судья картины? Что у вас вообще происходит в кино?  
Большаков сидел, помертвел.  
И именно в этот момент зашел Вождь.  
— Что случилось? — спросил он. — Почему остановка? Давайте посмотрите. Отличнейшая картина! Вопарилось безмолвие. Да такое, какое бывало только при Сталине.  
— Оборвалась пленка, — сказал кто-то из Политбюро.  
Кажется, это был все тот же Молотов.  
А может быть, Катаганов.  
Не знаю. Но в том, что это был член Политбюро, тут уж Иван Григорьевич, поверьте, не мог промахнуться.

# 6. Никита

О Хрущеве в общем и целом я тоже, кажется, там и не написал. Напрасно. И очень обидно.  
Надо бы, говоря о Хрущеве, рассечь его и разгладить куски за куском. Плюс или минус? Неясно. И хорошо что неясно. В нем была та истинная пестрота, та яростность, жестокость, гнев и смех, которые и делают человека действительно человеком.  
Итак, человек, который правил необъятной страной, имел, как и Сталин, неывалую власть, назывался и проца, везд умные, написанные для него слова, которые

не в силах было правильно произнести. Он говорил «коммунизма» вместо «коммунизм», а уж с таким словом, как «интернационализм» всегда была такая возня, что приходилось подсказывать из зала.

Вождь, которого и в народе и в номенклатуре сердито или благодушно звали просто НИКИТОМ.  
Я видел его не раз — как и все наши вожди, включая и Сталина, он (как бы это точнее сказать) в душе записывал перед искусством. Хотя и крыл это искусство врзлет, часто насмерть.

Но, ей Богу, побавлялся искусства: история может простить и забыть. Искусство ничего не забывает.  
Расскажу по порядку. Сперва, пожалуй, надо вспомнить о Поликарпове, что заведывал в те годы в ЦК культурой: член ЦК, который то возмалшил, то грохался, и с историей в годы его инвержений мы рядом работали, представлять, в редакционной коллегии Сценарной студии. Были верноподданно, безулыбности, партийности сценариев, вытравляя двусмысленности и волюнты, которые авторы, сколько помню, всегда хитрили: как-нибудь просочится.  
Видно, это в натуре авторов. В природе, черт же поберет!

Именно этот Поликарпов однажды перед заседанием, сообщил мне, что я зан и Хрущеву на Дальнюю Дачу. Кажется, ее звали Севеноской или же чем-то вроде, то же самым народным, бесхитростным, сердечным, простым.  
Полагаю, что все меня в списки званых именно Поликарпов, потому что никто из тех, кто начальствовал описанием бриллиантовых, даже не ведал в моем существовании, хотя и проглядывал мои фильмы. На дачах, в кругу семьи.

Столбы были накрыты на вольном воздухе. Гостей собралась наивпроворот. В большинстве званых — эти, настоящие званиями, да такими, где самым ничтожным был Лауреат. Звезды писательские, гиганты науки, герои войны и кино, юрифени вонала и спорта.

Вот так и в натуре авторов. В природе, черт же поберет!

Именно это Поликарпов однажды перед заседанием, сообщил мне, что я зан и Хрущеву на Дальнюю Дачу. Кажется, ее звали Севеноской или же чем-то вроде, то же самым народным, бесхитростным, сердечным, простым.  
Полагаю, что все меня в списки званых именно Поликарпов, потому что никто из тех, кто начальствовал описанием бриллиантовых, даже не ведал в моем существовании, хотя и проглядывал мои фильмы. На дачах, в кругу семьи.

Столбы были накрыты на вольном воздухе. Гостей собралась наивпроворот. В большинстве званых — эти, настоящие званиями, да такими, где самым ничтожным был Лауреат. Звезды писательские, гиганты науки, герои войны и кино, юрифени вонала и спорта.

# 7. На самый верх

Множество раз я мечтал написать о человеке, взшедшем на самый верх власти, выше которого невозможно взойти. Он управляет всем. Его слово рещает все. Ему аллодируют все, как повелось от Сталина.

Но он — демократ.  
Как это могло случиться? Вот это и следовало рассмотреть в том, что я предполагал отстучать на пишмашинке. Для книги или экрана.

Тут есть много возможностей для сюжетов. Я бы выбрал один из них. Например:  
Свершилось так (конечно, пора бы привыкнуть и к этому), что отошел на Вечный Покой тот, кто не съест сколько лет был Генеральным. Отлетел мирно, досраице. И вследствие того обстоятельства, что не было в этой смерти ни подосудных идей, ни политических инносказаний, похорошили его на самой почетной Площади, среди самых прстичных могил. Звучали речи, печально зывали клареты и трубы. Плакали ближние соподвижки, всеми мыслями устремленные к Племуку, где должен быть избран СЛБДУЮЩИЙ: не проморгать бы своей сульбы — она хоть и редко, однако не прочь взбрыкнуть.

Жуликовата, скотиня!  
В первоначальной сутолоке каждый таяет осиротевший Пост на себя. И все-таки избирают того, кого договорились избрать. Того, кто самый послушный и притерпевшийся.  
Он! Мой герой!

Крестьянским мальчишкой он бежал в город. Мотался у дядьки с теткой, единственных, кто у него в этом городе знал. Другие бежали из родного села порываше и болезни: наш человек, как птица, на редкость прелетит, когда надо лаять стрелка.  
Работал в городе — на самых прянных работах — дядня с теткой были не только не Ротшильдами, но полностью нулевыми. И все же, вопреки тому, что ночевал на полу, жил наотпах, а то и подкачках, мой герой (на удивление всем, особенно тетке) окончил школу и, продолжая спать на полу и мытарить, прошел в Институт, отодвинув тех, кто знал больше, мыслил острее, но не был так притан на классовой квоте: колхозный пастух, без жилья, спит на полу, учится среди мата и пьянства, умея, жаждет знаний и партаботы. Мандаткомиссия без промедления принимает его, тем более что идет он наперекор авторитетам из интеллигентских гнезд, где каждая семья клепает на себя других претендентов: невесть что, вплоть до скрытой причастности к графскому титулу или, напротив, к ветви Бронштейна-Троцкого.

Потом — институтское обжектие. Партсекретарь с первого курса. И самое коренное в этой веселой, распахнутой настель и все же скрытой и непросто московской студентческой круговоры — с одной бока свой в доску, взрызг, танпор, гитарист, с тонкой черточкой усюков над губой, с другой — насквозь верный сын Партии, поднаторевший в каждой странеции учения Маркса — Ленина, освоивший все признаки ректора и завхоза, точно знавший, где истина и где локь. И как надо жить. И как говорить. И что думать.

Однако он был не единственным из студентов, кто был таким беззащитным, таким метким в оценках того, кто друг, а кто враг, и таким, скажу правду, попадались студенты еще притчевей. Поэтому я отмечу и то, чем он отличался от всех: он знал и любил поэзию. Обожаел театр. Взахлеб и много читал — старое и самоеновейшее, «разбирался» в живописи, очень смелю судил (хоть был крутым отличником) (о наших провалах в науке, крушениях в экономике, не раз бранил жлам в советских устройствах, дураком в генералах, министрах).

Вел неполноствито тверд в суждениях о Партии. И даже ЧК.  
Не все гладко сходили, приходилось и каяться, но кто не каялся в наши дни? Он каялся весело, по добру, утрясалося: уж очень хороший был парень, отличник, умница, добросердечный, с улыбой, раскрытой настелье. Из крестьян.

Институт поэзии. Выпили, поболтались по старым московским, студентским перулкам, спели «Катюшу», подсыпали «Гаудеамус» и разбрелись по стране, чтобы уже почти ни разу не встретиться за всю остальную жизнь. Рассыпались. Разметало.

Но мой герой не рассылался. Он как отличник и активист, как дельный и симпатича был взят в аппарат ЦК комсомолоа. И удача, обычно ленивая, чезорешашья, сколько ни подлаив кисели, пошла к нему сильней махом. Сперва инструктор, через пару лет Зам В. Непророзиме. Потом Черномезье, Партия. Опята на первое время за гранью приметных меридиан. Потом в их редчотуи.

Время быстро идет у того, у кого оно вообще идет. Через десять лет он уже Секретарь Обкома. Вто-

(Окончание на 14-й стр.)